

ЕВДОКИЯ:

история некрасивой женщины

Основано на реальных событиях

АСТЕР ТЕРРА

Астер Терра

**Евдокия: история
некрасивой женщины**

«Автор»

2026

Терра А.

Евдокия: история некрасивой женщины / А. Терра — «Автор»,
2026

Эта невероятная история полностью основана на реальных событиях. Это рассказ о женщине, которой не повезло с внешностью и судьбой в суровые времена Российской империи конца XIX — начала XX века, однако она смогла обрести счастье наперекор всему.

Содержание

ГЛАВА I. ДОМ, ГДЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО	5
ГЛАВА II. ИНТЕРНАТ ПРИ ЗЕМСТВЕ	8
ГЛАВА III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЬБЫ	12
ГЛАВА IV. РЕШЕНИЕ	14
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Астер Терра

Евдокия: история некрасивой женщины

ГЛАВА I. ДОМ, ГДЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ ДЕТСТВО

В начале 1900-х годов, в одной из уездных губерний Российской империи, жизнь в бедных деревнях текла медленно и почти не менялась из года в год. Люди жили так же, как жили их родители и деды: весной пахали землю, летом работали в поле от рассвета до заката, осенью убирали урожай и заготавливали дрова на долгую зиму. Время здесь измерялось не календарем, а церковными праздниками, сенокосом, первым снегом и началом посевной.

Деревня просыпалась рано. Еще до восхода солнца над крышами изб поднимался сизый дым, женщины шли к колодцам с ведрами и коромыслами, мужчины собирались на работу, а дети с ранних лет учились помогать взрослым. Праздной жизни крестьянин позволить себе не мог. Каждый человек в семье был частью общего труда.

Избы стояли вдоль разбитой дороги неровными рядами — потемневшие от времени, с покосившимися крышами и маленькими окнами, затянутыми мутным стеклом. Весной улицы превращались в непролазную грязь, летом покрывались пылью, а осенью утопали в дождевой жиже. Зимой же все вокруг скрывалось под снегом, и деревня казалась тише, чем была на самом деле.

В одной из таких изб жила Дуня — девочка, чье детство закончилось раньше, чем она успела это понять.

Дом ее семьи был беден даже по местным меркам. Низкий потолок нависал над головой, стены местами отсырели, а зимой сквозь щели между бревнами тянуло холодом. Почти половину избы занимала старая русская печь с закопченными боками. Возле нее проходила вся жизнь семьи: здесь готовили еду, сушили одежду, грелись после работы и укладывали спать детей.

На лавках лежали потертые овчины, возле двери стояли ведра с водой, а под потолком висели связки лука и сушеных трав. По вечерам в доме зажигали керосиновую лампу. Ее тусклый свет едва разгонял темноту, и тогда по стенам начинали дрожать длинные тени.

Однако когда-то эта изба была совсем другой.

Дуня еще помнила мать. Та не могла избавить семью от бедности, но умела делать так, что бедность не казалась страшной. В доме пахло свежим хлебом и горячей картошкой, возле самовара шли неспешные разговоры, а за окнами ветер шумел не тревожно, а привычно. Мать часто пела вполголоса, занимаясь домашними делами, и от ее голоса даже долгие зимние вечера становились уютнее.

Особенно хорошо Дуня помнила ее руки. Теплые, немного шершавые от работы, но всегда ласковые.

Когда мать умерла, Дуня была еще совсем ребенком.

После похорон дом словно начал пустеть. Не сразу, день за днем. Сначала исчез вечерний смех, потом все реже стали звучать разговоры. Отец подолгу сидел возле печи, молча глядя на огонь, будто пытался разглядеть в нем что-то навсегда утраченное.

Казалось, вместе с хозяйкой изба потеряла свое тепло.

Через некоторое время отец привел новую жену.

Мачеха была женщиной крепкой, работающей и суровой. Она привыкла считать каждую копейку и каждый кусок хлеба. Ласковых слов от нее никто не слышал. Все в ее жизни подчинялось необходимости: работа, хозяйство, заботы о доме.

Одевалась она, как большинство деревенских женщин того времени: темная длинная юбка, выцветшая кофта, передник и платок, туго повязанный под подбородком. Ее руки почти всегда были заняты делом: то тестом, то стиркой, то починкой одежды.

Вместе с ней в дом пришла и ее дочь, девочка чуть младше Дуни. Живая, шумная и уверенная в себе, она быстро освоилась на новом месте и вскоре стала чувствовать себя здесь хозяйкой не меньше собственной матери.

Дуня же постепенно начала исчезать из собственной жизни.

Причиной тому были не только ее тихий нрав и беззащитная, слишком добрая душа. Почти половину лица девочки занимало большое родимое пятно густого лилового оттенка. Люди редко говорили об этом прямо, но дети смотрели с любопытством, взрослые с жалостью или неловкостью. Со временем Дуня привыкла опускать глаза и стараться занимать как можно меньше места.

Никто не обижал ее открыто. Все происходило иначе медленно и буднично. Лучшие куски за столом доставались другим. Одежду сначала донашивала сводная сестра, и только потом она переходила к Дуне. Когда в доме становилось холодно, место ближе к печи занимали более нужные люди.

Так день за днем она привыкала к мысли, что ее присутствие никому особенно не важно.

Отец видел все. Но молчал.

После смерти первой жены он словно надломился. Возвращаясь домой усталый, пропахший сырой землей, дымом и потом лошадей, он ел молча и редко вмешивался в происходящее. Даже отдых не приносил ему покоя и всегда находились дела по хозяйству.

Иногда Дуне казалось, что отец избегает смотреть на нее не из равнодушия, а из стыда. И от этого становилось еще больнее.

Однажды осенним вечером за окнами моросил холодный дождь. Ветер раскачивал ставни, а в трубе печи глухо завывало. Семья ужинала при свете лампы. На столе стоял чугунок с жидкой капустной похлебкой, пахло дымом и сырыми дровами.

Мачеха, не поднимая головы от миски, произнесла:

— Девку надо отдавать. Не прокормим.

Сказано это было спокойно, без злобы и без сожаления.

Отец долго молчал. Потом тяжело вздохнул и отвел взгляд.

Этого оказалось достаточно.

Дуня все поняла еще до того, как кто-либо объяснил ей, что будет дальше.

Через несколько дней в деревню приехал человек из волостного управления, одетый в старый серый сюртук, с папкой бумаг под мышкой и промокшими сапогами. Он недолго разговаривал с родителями, делал записи и ставил какие-то отметки.

В те годы судьбы таких детей решались быстро. Сирот, полусирот и детей из самых бедных семей нередко отправляли в приюты или казенные учреждения. Там они переставали быть заботой родственников и становились заботой государства.

Слово «приют» Дуня услышала всего несколько раз, но этого хватило.

Оно звучало холодно и чуждо.

Она стояла возле печи в старом выцветшем платье, с тонкой косой за спиной и покрасневшими от холода руками. Никто не спрашивал ее мнения. Да и кому пришло бы в голову спрашивать ребенка?

В день отъезда небо было затянуто низкими серыми тучами. Осень окончательно вступила в свои права. Дорога возле деревни размокла от бесконечных дождей, над полями стелился сырой туман.

У ворот стояла старая телега, запряженная худой лошадейю.

Из вещей у Дуни был лишь небольшой узелок со сменной рубахой, шерстяной платок да старые башмаки, которые были ей немного велики.

Перед тем как сесть в телегу, она остановилась и огляделась.

Из трубы поднимался дым. Скрипела калитка. За сараем лаяла собака. Возле колодца блестели мокрые бревна. Все вокруг было знакомо ей с самого рождения.

Это был ее дом. Только теперь он был холодный, неприветливый, давно переставший быть по-настоящему родным, но все-таки ее.

Другого дома Дуня не знала.

Провожать ее никто не вышел. Мачеха осталась в избе. Отец лишь коротко перекрестил дочь и снова отвел глаза.

Лошадь тронулась с места. Колеса тяжело заскрипели по размытой дороге.

Дуня сидела молча, кутаясь в платок. Она не плакала. Слезы будто остались где-то глубоко внутри. Пока телега медленно удалялась от деревни, она смотрела вперед и не оборачивалась.

А за ее спиной в сыром осеннем тумане постепенно исчезало все, что еще недавно было ее детством.

ГЛАВА II. ИНТЕРНАТ ПРИ ЗЕМСТВЕ

Дорога до земского приюта заняла почти весь день, и к вечеру Дуне уже начинало казаться, будто прежняя ее жизнь осталась где-то бесконечно далеко, за лесами, полями и грязными осенними дорогами, по которым тяжело катилась старая телега. Колеса с вязким хрустом проваливались в размокшую глину, лошадь устало тянула оглобли, время от времени шумно выдыхая пар в холодный воздух, а над пустынными полями медленно стлался сырой туман. Осень в тот год выдалась ранняя и неприветливая: деревья уже почти сбросили листву, земля потемнела от бесконечных дождей, а небо с самого утра стояло тяжелое, низкое, словно нависшее над самой дорогой.

Дуня сидела молча, прижав к груди свой маленький узелок. Все ее имущество теперь помещалось в этом старом куске ткани: несколько мелочей, не представлявших никакой ценности для других людей, но дорогих ей самой. Среди них был небольшой лоскут выцветшей материи, оставшийся от материнского сарафана. Иногда Дуня осторожно касалась его пальцами, будто стараясь удержать последнюю нить, связывавшую ее с прошлым.

Сначала по дороге еще встречались бедные деревни, потемневшие от сырости избы с покосившимися заборами, дымом над крышами и грязными дворами, где копошились куры и босые дети. Но постепенно жильё попадалось все реже. Лес все плотнее подступал к дороге, тянулся по обе стороны темной стеной, и чем дальше ехала телега, тем сильнее Дуня чувствовала странное, тяжелое одиночество, словно мир вокруг становился все холоднее и равнодушнее к ней.

К вечеру кучер молча свернул с большой дороги на узкий проселок, ведущий через редкий сосновый лес. Лошадь шла медленнее, колеса скрипели еще громче, а ветер шумел в голых ветвях так тоскливо, что у Дуни невольно сжалось сердце. Наконец впереди показалось длинное деревянное здание, стоявшее особняком среди пустыря.

Приют выглядел мрачно и неприветливо даже издали. Длинное деревянное здание стояло в стороне от дороги, вытянутое и тяжелое, с узкими темными окнами и низким крыльцом, перекошенным набок. Оно не походило на жилой дом, скорее на забытое людьми место, где жизнь когда-то была, но давно прекратилась. Все вокруг было серым: небо, грязь под ногами, стены, даже редкий свет в окнах казался тусклым и болезненным.

Кучер остановил лошадь, тяжело спрыгнул с телеги и, перекрестившись, негромко произнес:

— Ну-с, барышня приехали. Ступай с Богом.

Дуня осторожно слезла на землю. Холодный ветер сразу растрепал ее косу и ударил в лицо сыростью. Несколько мгновений она стояла неподвижно, глядя на длинное казенное здание, и чувствовала, как внутри медленно поднимается страх тихий и тяжелый, похожий на ощущение человека, окончательно потерявшего дорогу домой.

Дверь открыла высокая женщина в строгом темном платье с белым накрахмаленным воротником. Лицо у нее было сухое, утомленное, с тем выражением постоянной строгости, которое появляется у людей, давно привыкших к чужим слезам и бедам.

Она быстро осмотрела Дуню с головы до ног, задержав взгляд на ее лице чуть дольше положенного, и лишь после этого произнесла.

— Новенькая, стало быть?

— Да-с — тихо ответила Дуня.

— Проходи. Нечего на ветру стоять. Простынешь и других заразишь.

Внутри приюта стояла тяжелая духота, смешанная с запахом мокрой шерсти, дешевого мыла, сырого дерева и кислых щей, которыми, будто насквозь, пропитался весь этот дом.

Особенный казенный запах сразу ударял в нос и словно въедался не только в одежду и стены, но даже в человеческую память.

Где-то в глубине здания плакал ребенок, звякала посуда, слышались торопливые шаги и приглушенные голоса.

Дуню провели по длинному коридору с потертым деревянным полом. Тусклые керосиновые лампы едва освещали серые стены, вдоль которых стояли лавки и рядами сушились мокрые башмаки. Девочки, встречавшиеся по пути, поднимали на новенькую короткие осторожные взгляды и тут же снова опускали глаза.

Все они были удивительно похожи друг на друга: одинаковые темные платья из грубого сукна, одинаково туго заплетенные косы, одинаково настороженные лица, на которых детская живость уже почти уступила место ранней усталости.

Возле небольшой каморки женщина остановилась и раскрыла толстую книгу.

— Имя?

— Евдокия

— Годов сколько?

— Тринадцатый

— Стало быть, Дуня, — сухо проговорила она, быстро выводя что-то пером на бумаге. — Ну, добро.

На этом расспросы закончились.

Никто не спрашивал, откуда она приехала, кого потеряла, страшно ли ей сейчас. Здесь подобные вещи никого не интересовали. Для приюта Дуня была лишь еще одной сиротой, еще одной строчкой в длинном списке детей, проходивших через эти стены.

Спальня оказалась длинной и холодной комнатой с двумя рядами железных коек. Матрасы были тонкие, набитые соломой, серые одеяла пахли сыростью, а в углу под иконой едва теплилась лампадка.

Девочки уже готовились ко сну: кто-то торопливо расплетал косу, кто-то штопал чулок при слабом свете лампы, кто-то сидел молча, уставившись в пол.

— Вот твое место, — сказала надзирательница, указав на свободную койку. — Подъем по колоколу. На молитву не опаздывать. Старших слушаться. Без баловства.

Дуня тихо кивнула и села на край кровати, крепко сжимая в руках свой узелок.

В ту ночь она долго не могла уснуть. За окнами шумел ветер, где-то в коридоре скрипели половицы, кто-то из девочек тихо кашлял во сне, а одна совсем маленькая воспитанница, лежавшая неподалеку, время от времени беззвучно всхлипывала, пряча лицо в подушку. И хотя Дуня чувствовала ту же тоску и страх, плакать она не могла. Слезы словно остались где-то далеко, вместе с той жизнью, из которой ее увезли.

Первое утро началось еще затемно. Резкий металлический звон колокольчика разорвал тишину так внезапно, что Дуня вздрогнула и сразу села на постели.

Комната мгновенно ожила: девочки быстро вставали, натягивали платья, умывались ледяной водой из жестяных тазов, торопливо заплетали волосы. От холодной воды пальцы немели почти сразу, но никто не жаловался.

— Живее, голубушки, живее! — строго повторяла воспитательница, проходя между кроватями. — Не на барском дворе живете.

После умывания всех повели на молитву. В маленькой комнате с потемневшими иконами пахло воском, лампадным маслом и сырой штукатуркой. Девочки стояли рядами, опустив головы, и сонными голосами повторяли знакомые слова молитв. Надзирательница внимательно следила, чтобы никто не отвлекался и не крестился небрежно.

— Господь смиренных любит, — произнесла она. — А леность и своеволие — первый шаг к гибели души. Помните сие.

После молитвы начиналась работа.

Приют жил тяжелым, бесконечным трудом. Старшие девочки стирали белье в прачечной, где густой горячий пар смешивался с запахом щелока и мокрой ткани. Другие помогали на кухне: чистили картофель, носили воду, скоблили котлы. Кому-то поручали штопать одежду или мыть полы.

Дуне велели заниматься хозяйственными работами. С утра до вечера она таскала ведра, мыла деревянные полы, чистила посуду и помогала на кухне. Работа сама по себе не казалась непосильной, но ее непрерывность постепенно выматывала сильнее любого тяжелого труда. Здесь не существовало настоящего отдыха, один день лишь незаметно переходил в другой.

Воспитательницы говорили с детьми сухо и ровно, как люди, давно привыкшие прежде всего поддерживать порядок.

— Не мешкать.

— Метлу держи ровнее.

— Не разговаривать без надобности.

— Чего стоишь? Работу свою забыла?

За малейшую провинность следовало наказание: лишний час работы, холодный угол или оставленный без ужина вечер. Но самым тяжелым для Дуни было даже не это. Гораздо страшнее оказалось ощущение полной чуждости собственной жизни.

Здесь все принадлежало не тебе: время, одежда, сон, еда, даже будущее. Чужой звон поднимал утром. Чужой голос указывал, когда молиться и когда ложиться спать. Чужие люди решали, кем ты станешь, где будешь жить и кому однажды окажешься отдана.

Несколько часов в неделю девочек собирали в учебной комнате, длинном холодном помещении с низкими окнами, через которые даже днем проникало мало света. Вдоль стен стояли грубо сколоченные парты, потемневшие от времени и чернильных пятен, а у стены висела выцветшая карта Российской империи, края которой давно начали загибаться от сырости.

Зимой в комнате было особенно холодно. Печь топили плохо, и девочки сидели, пряча покрасневшие руки в рукава грубых платьев, пока учительница медленно ходила между рядами, постукивая указкой по столу.

Обучение здесь считалось делом необходимым, но не главным. Детей учили читать по Псалтырю и старым церковным книгам, выводить буквы тупыми перьями в тонких тетрадах и считать на деревянных счетах.

Иногда воспитательница заставляла их заучивать наизусть длинные нравоучительные тексты о смирении, трудолюбии и страхе Божиим.

— Девице грамота нужна не для гордости, а для пользы, — любила повторять учительница, поправляя очки. — Чтоб в хозяйстве не быть душой и волю старших разуметь.

Некоторые девочки учились нехотя, но не от лени, а от усталости. После тяжелой работы глаза слипались сами собой, а буквы расплывались перед глазами. Но Дуня слушала внимательно.

Слова, строки книг и чужие рассказы неожиданно открывали перед ней что-то далекое и почти недостижимое, некий другой мир, существующий за пределами этих сырых стен. Мир, где были большие города, реки, монастыри, железные дороги и люди, жившие совсем иначе.

Особенно сильно ее поражали уроки чтения.

Когда однажды учительница велела ей читать вслух, Дуня сперва испугалась, ведь девочки уже не раз посмеивались над ее родимым пятном и тихим голосом.

Но, начав читать, она вдруг сама не заметила, как постепенно перестала слышать чужое дыхание и шорохи в комнате. Слова словно уводили ее куда-то далеко от приюта, от тяжелого запаха сырости, от бесконечной усталости и одинаковых дней.

И хотя Дуня еще не могла объяснить этого чувства, именно тогда внутри нее впервые появилась едва заметная мысль о том, что жизнь, возможно, не заканчивается стенами приюта.

По вечерам девочки возвращались в спальню молчаливые и усталые. Иногда между кроватями начинался тихий шепот.

— Авось меня в хороший дом определят

— А меня тетка в город взять обещалась

— Коли Бог даст, замуж удачно выйду

О будущем здесь говорили осторожно, словно боялись даже малую надежду спугнуть неосторожным словом.

Однажды худенькая рыжеволосая девочка, сидевшая рядом с Дуней, вдруг спросила:

— А ты чего желаешь?

Дуня растерянно подняла глаза. Прежде ей никогда не задавали такого вопроса.

Она долго молчала, а потом едва слышно ответила:

— Не знаю

И в этих тихих словах было столько пустоты, что рыжая девочка больше ничего не спросила.

Шли недели. Дни становились похожими один на другой настолько, что Дуня перестала различать их. Время словно остановилось внутри этих сырых стен, превратившись в бесконечный круг из молитв, работы, усталости и короткого тревожного сна. И однажды поздним вечером, когда в спальне уже погасили лампы и девочки лежали в темноте, Дуня услышала голоса воспитательниц за дверью.

— Сколько этой партии осталось?

— Года два, не боле.

— Ну, а там распределят. Кого в услужение, кого при мастерских оставят как водится.

Они говорили спокойно и равнодушно, будто речь шла не о человеческих судьбах, а о каких-то хозяйственных делах.

Лежа на своей узкой койке и вслушиваясь в тяжелое дыхание спящих девочек, Дуня вдруг с холодной ясностью поняла то, чего прежде еще не осмеливалась назвать словами: в этом доме никто не думал о детях как о живых душах, нуждающихся в любви или заботе. Здесь их лишь приучали к будущей покорности, готовили к чужой воле и чужому приказу.

И это понимание пришло без слез. Будто внутри нее просто медленно погас еще один маленький огонек.

ГЛАВА III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЬБЫ

Годы в интернате не запомнились Дуне как череда событий. Скорее как длинная, ровная полоса одинаковых дней, в которой различия стирались быстрее, чем успевали закрепиться. Зима сменяла осень, весна зиму, но внутри здания это почти не ощущалось. Там всегда было прохладно, все также пахло сыростью, вареной крупой, воском и мокрой тканью.

Девочки росли рядом друг с другом, но не вместе. У каждой была своя тишина, своя осторожность, свой способ не привлекать внимания. Их учили не выделяться, не спорить, не задерживаться в разговоре дольше необходимого. Это считалось воспитанием.

Одежда оставалась одинаковой: темные платья из грубой материи, фартуки, платки, аккуратно заплетенные косы. Любая попытка украшения считалась излишней. В этом месте красота воспринималась как риск.

Дуня быстро поняла, что ее внешность не делала ее незаметной, напротив, она сразу выделяла ее среди других. Но в приюте это быстро теряло значение: здесь у каждого было что-то, за что не принято было задерживать взгляд.

К концу ее пребывания в интернате девочки начали меняться. Кто-то становился более уверенным, кто-то наоборот, замкнутым. Но всех объединяло одно: ожидание момента, когда их «определят».

Это слово звучало часто.

«Определить в службу».

«Определить в семью».

«Определить в замужество».

Никто не говорил «жизнь». Говорили — «место».

День совершеннолетия был отмечен не праздником, а обычным утренним звонком. Все происходило так же, как всегда: подъем, вода, молитва, работа. Только в этот день несколько девочек вывели из общего распорядка и собрали в отдельной комнате.

Комната была почти пустой. Стол, несколько стульев, бумаги.

За столом сидели представители учреждения, две женщины в темных одеждах с аккуратно собранными волосами. Их речь была спокойной, деловой, лишённой личного участия.

— По достижении совершеннолетия воспитанницы подлежат распределению, — произнесла одна из женщин, не поднимая глаз от бумаг.

Слово «распределение» прозвучало как финальная формальность.

Девочек вызывали по одной.

Каждой зачитывали короткое решение: куда направляется, к кому, на каких условиях. Иногда это была служба в доме, иногда брак, иногда работа в хозяйстве.

Дуня слушала, не сразу понимая, что это касается ее будущего напрямую, а не как абстрактного процесса. Когда назвали ее имя — Евдокия — она поднялась.

Женщина посмотрела в бумаги и чуть задержала взгляд.

— Особых предложений нет, — сказала она спокойно. — Но есть вариант. Один человек согласен взять тебя в дом в качестве супруги.

Возникла пауза

— При условии согласия.

Слова прозвучали ровно, буднично. Но в них чувствовалась окончательность, не предполагающая возражений.

Дуня стояла неподвижно. Она не знала этого человека, не видела его и не понимала, почему выбор пал именно на нее.

И возвращаться ей было уже некуда: за время в приюте она узнала о смерти отца, а родной дом окончательно перешел в руки мачехи.

Но в интернате давно усвоили: решений здесь не обсуждают.

— Согласна ли ты? — спросили ее.

Вопрос прозвучал так, будто предполагал возможность отказа. Но сама обстановка, присутствующие люди и порядок вещей не оставляли для него реального смысла.

Тишина длилась несколько секунд.

Отказ не был тем, что она могла произнести вслух. У нее не было ни дома, ни права остаться здесь, ни голоса, который мог бы что-то изменить.

— Согласна, — тихо сказала она.

Никакой реакции не последовало. Ни одобрения, ни сочувствия. Только отметка в бумагах.

— Решено, — сказала другая женщина, поправляя очки.

Так закончился ее интернат. Не переходом, не событием, а оформленным решением.

Вечером девочки сидели в комнате. Кто-то плакал тихо, кто-то молился, а кто-то молчал, уставившись в одну точку. Разговоры почти не звучали, говорить было не о чем.

Дуня лежала на своей койке и смотрела в темноту. Она не чувствовала радости. Но и страха тоже не было.

Только ощущение, что ее жизнь снова сдвинулась и не по ее воле, но уже и не совсем без нее.

За окном шумел ветер. И где-то за пределами интерната начинался мир, который она пока не знала

ГЛАВА IV. РЕШЕНИЕ

Ночь в интернате всегда была самой плотной частью суток. Днем здесь существовал порядок, расписание, голоса, шаги, команды. Ночью все это исчезало, и оставалась только не спокойная тишина, настороженная, как будто само здание продолжало слушать своих обитателей даже во сне.

Иногда Дуне казалось, что дом не спит вовсе. Что он просто делает вид, будто пуст, но на самом деле продолжает держать внутри себя всех, кто в нем находится.

В ночь перед свадьбой Дуня долго не спала. Лежала на узкой койке, ощущая под спиной жесткие доски и тонкий матрас, набитый соломой. Солома давно слежалась, стала тяжелой и неровной, местами колкой. Одеядло пахло влажной тканью и чужим телом, запах, от которого нельзя было избавиться ни мытьем, ни временем.

Уставшее дыхание спящих девочек рядом сливалось в общий фон, почти как ветер в щелях. Иногда кто-то переворачивался, и кровать тихо скрипела, но этот звук сразу растворялся.

После решения о распределении внутри Дуни не было ни слез, ни привычного страха. Сначала она даже пыталась вызвать в себе это чувство как раньше, в детстве, когда темнота казалась живой. Но теперь все воспринималось иначе. Ее жизнь по-прежнему решали другие люди, и к этому она давно начала привыкать.

Где-то вне этих стен уже определили ее дальнейшую судьбу, и оставалось лишь покорно принять то, чего она не могла изменить. И все же мысль о замужестве неожиданно не казалась ей самым страшным исходом.

За годы в приюте Дуня почти перестала верить, что когда-нибудь у нее появится собственный дом или человек, рядом с которым она не будет чувствовать себя лишней. Слишком хорошо она знала взгляды окружающих: жалость, неловкость, плохо скрытое отвращение к ее лицу.

Ни один мужчина прежде не задерживал на ней взгляда дольше необходимого. Потому известие о будущем браке сначала принесло ей не столько ужас, сколько тихую, почти стыдливую надежду, в которой она боялась признаться даже самой себе. Она старалась не думать слишком далеко вперед, но иногда все же позволяла себе осторожную мысль о том, что за пределами приюта ее может ждать не только чужая воля, но и какая-то другая жизнь. Пусть тяжелая. Пусть незнакомая. Но своя.

Именно тогда, в ночь перед свадьбой, Дуня случайно услышала разговор, после которого эта хрупкая надежда начала медленно рушиться.

Сначала это были просто старушечьи голоса под окном, приглушенные, как будто разговаривали не люди, а сама старая лавка у стены. Ничего необычного: в теплые вечера пожилые женщины часто засиживались возле приюта допоздна, обсуждая чужие судьбы, болезни, свадьбы и деревенские новости. Дуня не собиралась прислушиваться, но слова сами проникали сквозь сонную тишину комнаты.

— Да-а жалко девку-то сиротинка ведь. Тихая такая, смиренная. Сердце доброе у ней. — вздохнула одна.

— А что ж поделаешь судьба, стало быть, такая, — ответила другая. — Мужик-то он не бедный, да только с норовом тяжелым

— Да ведь двух баб своих уж в могилу свел, царствие им небесное...

— Не сами померли-то, — тише проговорила третья. — Люди сказывают, бил он их люто так и забил.

— Господи Иисусе... Да отчего ж именно Дуняшку-то отдают?

— А затем, что сирота. Тихая. Безответная. Такая и слова поперек не скажет. Кто за нее вступится-то?

Под окном ненадолго повисла тишина. Потом кто-то тяжело поднялся с лавки, скрипнули старые доски, послышался кашель, и разговор постепенно ушел в сторону других деревенских дел. Но Дуня уже почти ничего не слышала. Она лежала неподвижно, натянув тонкое казенное одеяло до самого подбородка, и смотрела в темноту над своей койкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.